

# ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ

ДОПОТОПНАЯ ИЛИ  
ДОПОЖАРНАЯ  
МОСКВА

# Петр Андреевич Вяземский

## Допотопная или допожарная Москва

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=24530527](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24530527)*

### **Аннотация**

«Случайно напал я (говорю случайно, потому что очень трудно, если и несовершенно невозможно, следить вне России за общею Русскою журнальною деятельностью), случайно напал я на статью в журнале, в которой, между прочим, сказано, что «Москва 805 года была совершенною провинциею в сравнении с Петербургом; что она, полная богатым барством, жила на распашку, хлебосольничала и сплетничала; политические интересы занимали ее мало...»

# Петр Вяземский

## Допотопная или допожарная Москва

Случайно напал я (говорю случайно, потому что очень трудно, если и несовершенно невозможно, следить вне России за общею Русскою журнальною деятельностью), случайно напал я на статью в журнале, в которой, между прочим, сказано, что «Москва 805 года была совершенною провинциею в сравнении с Петербургом; что она, полная богатым барством, жила на распашку, хлебосольничала и сплетничала; политические интересы занимали ее мало. В то время, когда в Петербурге только и толков было, что о предстоящей войне с Наполеоном, Москва гораздо более замыкалась тяжкою болезнию одного богатого барина и вопросом, кому он оставит громадное свое состояние». (Заметим мимоходом, что тогда в Москве не могли толковать о *громадном* состоянии, потому что на Карамзинском языке, тогда господствовавшем в Москве, слово «громадное» не применялось, как ныне, ко всем понятиям и выражениям).

Как старый и допотопный Москвич почитаю обязанностью своею прямо и добросовестно подать голос свой против такого легкомысленного и несправедливого мнения о Москве. Новое поколение знает старую Москву по комедии

Грибоедова; в ней почерпаешь оно все свои сведения и заключения. Грибоедов – их преподобный Нестор, и по его рассказу воссоздают они мало знакомую им старину. Но по несчастью драматический Нестор в своей Московской летописи часто *мудрствовал лукаво*. В некоторых захолустьях Москвы, может быть, и господствовали нравы, исключительно выставленные им на сцене. Но при этой темной Москве была и другая еще светлая Москва. Что сказано о ней 1805 года журналистом, коего слова приведены выше, может быть сказано не только о Москве такого то года, но о всяком большом городе и во всякое время, как о Париже, так и о Лондоне, Нью-Йорке, и пр. и пр. *Тяжкая болезнь богатого барства и вопрос, кому достанется громадное его состояние*, могут служить и без сомнения служат, в числе других предметов, темою общежитийских разговоров, и не выпускаются из вида светскою хроникою. Не одни же общечеловеческие задачи и государственные вопросы занимают внимание общества. Впрочем везде и во всех столицах, городах и во всяких других сборищах встречаются пошлые и смешные люди. Без этого баласта нигде не обойдешься. Без сомнения, и в изящной, пластической древней Греции, в сей стране образцовой красоты, бывали и горбатые, кривобокие и колченогие. Но не их избирали Фидиасы, Праксители для воссоздания своих произведений. Впрочем, когда охота есть, почему не изображать и горбатых и колченогих, благо, что и они существуют в природе: а *все человеческое – не чуждо человеку*, как сказал

Римский поэт. Но не выставляйте этих несчастных выроdkов прототипами общего народонаселения. Не подражайте тому путешественнику, который, проезжая через какой то город и подсмотрев, что рыжая баба бьет ребенка, тут же внес в свой дорожный дневник: Здесь вообще женщины рыжия и злые.

Что Москва не была исключительно тем, чем ее некоторые нравоописатели представляют, можно сослаться на слова другого Москвича, еще старейшего меня, которого свидетельство принадлежит истории. Вот что Карамзин говорил о Москве в статье своей *«О публичном преподавании наук в Московском университете»*. Знаю, что в наше время мало читают Карамзина, а потому считаю нелишним привести здесь собственные слова его. Говоря о лекциях, Автор замечает: «Любитель просвещения с душевным удовольствием увидит там (т.-е. на лекциях) знатных Московских дам, благородных молодых людей, духовных, купцов, студентов Заиконоспасской академии и людей всякого звания». Эта статья появилась в 803 году, следовательно не задолго до 805 года, так жестоко заклеяменного журналистом. Следовательно, публичные лекции, о которых толкуют ныне, привлекали уже за 60 лет тому назад любознательное внимание Московской публики; они были оценены Карамзиным гораздо ранее, чем была вообще признана польза популярного преподавания науки. «Знания, – говорил он – бывшие уделом особенного класса людей, собственно называемого *ученым*, ныне более и более распространяются, вышедши из тесных пре-

делов, в которых они долго заключались; к числу сих способов (т.-е. способов действовать на ум народа) принадлежать и публичные лекции Московского университета. Цель их есть та, чтобы самим тем людям, которые не думают и не могут исключительно посвятить себя ученому состоянию, сообщать сведения и понятия о науках любопытнейших нововводителей». Польза общенародной науки была признана и приведена в действие в Москве еще в начале текущего столетия. Эти понятия, воззрения и суждения могли бы написаны быть вчера. В них не отзывается отсталость устаревшей мысли. Мысль эта свежа и ныне, но выражена языком, который по несчастью устарел, т.-е. сделался преданием давно минувших лет. Тогда чистота, правильность и звучность Русского языка была на высшей степени своего развития.

Есть еще другое свидетельство, и более важное, об умственном, гражданском и политическом состоянии старой Москвы. Вот что говорил Карамзин в путеводительной записке своей, составленной для Императрицы, пред отъездом её Величества в Москву: «Со времен Екатерины Москва прослыла *Республикою*. Там без сомнения более свободы, но не в мыслях, а в жизни; более разговоров, толков о делах общественных, нежели здесь в Петербурге, где умы развлекаются Двором, обязанностями службы, исканием, личностями».

Из приведенных слов явствует, что вопреки Грибоедову и последователям, слепо доверившим на слово сатирическим

выходкам его, оценка Петербурга и Москвы должна быть признана именно в обратном смысле, т.-е. что в Москве было более разговоров и толков о делах общественных, нежели в Петербурге, где умы и побуждения развлекаются и поглощаются двором, обязанностями службы, исканием и личностями. Оно так и быть должно: в Петербурге – сцена, в Москве зрители; в нем действуют, в ней судят. И кто же находится в числе зрителей? Многие люди, коих имена более или менее принадлежат административной и государственной истории России. Пожалуй, некоторые из них оказываются зрителями и судьями пристрастными, недовольными тем, что есть, потому что настоящее уже не им принадлежит и что они должны были уступить место новым действующим лицам. Бывшие актеры сделались ныне зрителями актеров новых, но за то в этом оппозиционном партере, как и во всякой оппозиции, были живость прения и даже страсти, но ни в каком случае не могло быть застоя. И кто же заседал в этом партере или, по крайней мере, занимал в нем первые ряды – Графы Орловы, Остерманы, князья Голицыны, Долгорукие и многие другие второстепенные знаменитости, которые в свое время были действующими лицами на государственной сцене. Все эти лица были живая летопись прежних царствований. Они сами участвовали в делах и более или менее знали закулисные тайны придворной и государственной сцены. Позднее к этим обломкам славного царствования Екатерины изменчивая судьба закидывала жертвы но-

вейших крушений и загоняла в пристань и затишье тихих пловцов, жаждущих отдыха и спокойствия. В то время не одни опальные или недовольные покидали службу; были люди, которые, достигнув некоторого чина и некоторых лет, оставляли добровольно служебное поприще, жили для семейства, для управления хозяйством своим, для тихих и просвещенных радостей образованного общества. К прежним именам прибавим имена княгини Дашковой и графа Ростопчина, который, удаленный от дел в продолжение царствования Павла I, жил в Москве на покое до назначения своего начальником Москвы пред бурей 1812 г. Одна княгиня Дашкова, своею историческою знаменитостию, своенравными обычаями, могла придать особенный характер тогдашним Московским салонам. Это соединение людей, более или менее исторических, имело влияние не только на Москву, но действовало и на Замосковные губернии. Москва подавала лозунг России. Из Петербурга истекали меры правительственные; но способ понимать, оценивать их, судить о них, но нравственная их сила имели средоточием Москву. Фамусов говорить у Грибоедова: «Что за тузы в Москве живут и умирают!» и партер встречает смехом и рукоплесканиями этот стих, в самом деле забавный. Но если разобрать хладнокровнее, то что за беда, что в колоде общества встречаются тузы! Ужели было бы лучше, если б колода составлена была из одних двоек? Многие из этих бар жили хлебосольно и открытыми домами, доступными москвичам, иногородным дворянам, приез-

жавшим на зиму в Москву, деревенским помещикам и молодым офицерам, празднующим в Москве время своего отъезда. Дворянский клуб или Московское благородное собрание было сборным местом Русского дворянства. Просторная и великолепная зала в красивом здании, которая в то время служила одним из украшений Москвы и не имела, себе подобной в России, созывала на балы по вторникам многолюдное собрание, тысяч до 3, до 5 и более. Это был настоящий съезд России, начиная от вельможи до мелкопоместного дворянина из какого-нибудь уезда Уфимской губернии, от статс-дамы до скромной уездной невесты, которую родители привозили в это собрание с тем, чтобы на людей посмотреть, а особенно себя показать и, вследствие того, выйти замуж. Эти вторники служили для многих исходными днями браков, семейного счастья и блестящих судеб. Мы все, молодые люди тогдашнего поколения, торжествовали в этом доме вступление свое в возраст светлого совершеннолетия. Тут учились мы любезничать с дамами, влюбляться, пользоваться правами и, вместе с тем, покоряться обязанностям общежития. Тут учились мы и чинопочитанию и почитанию старости. Для многих из нас эти вторники долго теплились светлыми днями в летописях сердечной памяти. Надобно признаться, хотя это признание состоит ныне исповедью в тяжком грехе, мы, старые и молодые, были тогда светскими людьми и не только не стыдились быть ими, но придавали этому званию смысл умственной образованности и вежливо-

сти, а потому и дорожили честью принадлежать к высшему обществу и наслаждаться его удобствами и принадлежностями. Некоторые из Московских бар имели картинные галереи, собрания художественных и научных предметов, напр., граф Алексей Кириллович Разумовский, кроме роскошного дома и при нем обширного и со вкусом расположенного сада в самом городе, имел под Москвою в Горенках разнообразный и отличный ботанический сад, рассадник редких растений из отдаленных краев всего мира. Граф Бутурлин имел обширную, с любовью и званием дела собранную библиотеку, одну из полнейших у частных лиц библиотек, известных в Европе. Иные вельможи, на собственном своем иждивении, устраивали для меньших братьев больницы и странноприимные дома, а другие – почему и в этом не признаться – содержали хоры крепостных певчих, крепостные оркестры и крепостных актеров. Если по существующим тогда узаконениям помещики могли иметь для фабрик и заводов своих крепостных фабрикантов и мастеровых, то почему же оскорбительнее было для человечества образовывать художников из подведомственных им людей. Эти явления приводят ныне в ретроспективный ужас жеманную филантропию и пошлый либерализм, но тогда эти *полубарские затеи*, как иногда они были неудачны и смешны, с другой стороны развивали в крепостном состоянии хотя и невольные и темные, но не менее того некоторые понятия и чувства изящные. Это все-таки была кое-какая образованность и распространяла гра-

мотность в грубых слоях общества, обреченного невежеству и безграмотности. Имена Сумарокова, Княжнина, фон-Визина, Бортнянского, Мольера, Коцебу и творения их становились им доступными. Многие актеры из домашних и крепостных трупп, например в числе других Столыпина, сделались впоследствии украшением Московского театра. Если крепостное владение в России не имело бы других упреков и грехов на совести своей, а только эти полубарские затеи, то можно бы еще примириться с ним и даже отчасти сказать ему спасибо. Ныне много толкуют в Европе *об обязательном и даровом обучении народном*; вот вам в ваших Москвичах живой пример уж подлинно *обязательного и дарового обучения*.

Мы видели из слов Карамзина, какое влияние имел тогда университет на Московское общество; он сохранил и передал на уважение потомства имена некоторых из его деятелей: Политковского, Страхова, Гейма, которому Русский язык не был природным, но которым говорил он чисто и правильно, молодого Шлецера, также не Русского, но вполне земляка нашего по историческим трудам знаменитого отца своего. Еще другие имена могут быть внесены признательностью в послужной список Московского университета, как, напр., Буле, Рейнгардта и некоторых других из Русских и чужеземных профессоров. Этот период был едва ли не самым цветущим в истории университета, в чем убедиться легко, справившись с историей Московского университета и био-

графическим словарем профессоров его, изданными покойным Шевыревым. Тогда не заботились и не толковали о самородной науке; тогда общая, человеческая наука и заграничные представители её не пугали и не оскорбляли нашего раздражительного патриотизма. Скорее, после 1812 года был на некоторое время застой деятельности и жизни сего старейшего и высшего учебного заведения в России. Помню, как Иван Иванович Дмитриев, который любил дружески трунить над ректором его и приятелем своим, всем нам памятным А. А. Антонским

(«Тремя помноженный Антон,

„А на закуску Прокопович“, как сказано было о нем во время оно), говорил ему: признайтесь, что ваш университет ныне дремлет; только и замечаешь в нем движение, когда едешь по Моховой и видишь, как профессора у окон перевертывают на солнце бутылки с наливками». Изящная текущая словесность также почти исключительно имела в Москве своих выборных и верховных деятелей. Россия училась говорить, читать и писать по русски по книгам и журналам, издаваемым в Москве. Петербург воспел в старом слоге; Москва развивала и преподавала новый. Карамзин и Дмитриев были его основателями и образцами. Около них и под их сенью расцветали молодые дарования: напр., Макаров (Петр) – по части прозы и журналистики, Жуковский – на вершинах поэзии. Около того времени появился и Русский Вестник, издаваемый Сергеем Глинкою. В литератур-

ном отношении сей журнал был, может быть, мало замечателен, но в нравственном и политическом он имел всю важность события, как противодействие владычеству Наполеоновской Франции и как воззвание к единомыслию и единому духу, предчуемой уже в воздухе грозы 1812 года. Сей журнал имел свое неоспоримое и весьма сильное значение. Зоркие и подозрительные глаза Наполеона ничего не упускали из вида; Французский посол в Петербурге жаловался нашему правительству на содержание некоторых из его статей. Глинка разделял с г-жею Сталь славу угрожать пером своим всепобеждающему и всесокрушающему мечу Наполеона и тревожить самоуверенность честолюбивого владыки. Пишу на память и не имею под рукою справочных материалов: иное и иных могу пропустить забвением и отступить от хронологического порядка, но главные черты и краски мне приснопамятны, и картина, мною слегка набросанная, может быть лишена полноты, но не истины. Грешно было бы, при этом литературном очерке, пройти молчанием Хераскова. Он, конечно, ныне устарел и более нежели некоторые из его сверстников и предшественников. В нем ничего не было или было слишком мало оригинальности или самобытности, как в хороших свойствах, так и погрешностях, а одна самобытность долговечна и переживает свое время. Державин и в падениях своих поэт иногда увлекательный и почти всегда поучительный. Новейшие поколения довольно глумились над бедным Херасковым. Я первый тягчил свою совесть несколько-

ми эпиграммами и насмешками, не пощадивший его почтенной и честной памяти:

«Но жизни перешел волнуемое поле,  
Стал мене пылок я и жалостлив стал боле»,

а особенно стал более справедлив и почтителен. Приношу повинную голову мою и раскаяние пред тенью певца Росоиады. Он в свое время занимал видное и почетное место в высших рядах Русской словесности. Он долго был патриархом её и особенно патриархом Московским. Постоянно, и добросовестно во все продолжение долгой жизни, был он верен служению прекрасного, нравственного и доброго. Писатель, написавший так много прозой и стихами и все же не лишенный некоторого дарования, не мог не иметь влияния на язык и не оставить по себе каких-нибудь следов, достойных внимания и даже изучения. Смешно и жалко хотеть переспорить минувшее. Если Херасков в свое время имел читателей и толпы поклонников, то и он принадлежит истории. Как патриарх, он и ныне, по ветхозаветным заслугам своим, имеет полное право на уважение наше. Зачитываться его не будем, а читать его и справляться с ним, как с литературным знаменем современной ему эпохи, не мешает. По времени и по местности, недалеко от могилы Хераскова встречаем колыбель Пушкина: *Un grand destin s'achève, an grand destin commence.* И в этих двух участиях все противополож-

но, кроме общей любви к искусству и благородному служению его. Пушкин был также родовой Москвич. Нет сомнения, что первым зародышем дарования своего, кроме благодати свыше, обязан он был окружающей его атмосфере, благоприятно проникнутой тогдашней Московской жизнью. Отец его Сергей Львович был в приятельских сношениях с Карамзиным и Дмитриевым, и сам, по тогдашнему обычаю, получил если не ученое, то, по крайней мере, литературное образование. Дядя Александра, Василий Львович, сам был поэт или, пожалуй, любезный стихотворец, и по тогдашним немудрым, но не менее того признанным требованиям был стихотворцем на счету. Вся эта обстановка должна была благотворно действовать на отрока. Зоркие глаза могли предвидеть.

«В отважном мальчике грядущего поэта». (Дмитриев).

Старая Москва нисколько не могла быть признана за провинциальный и заштатный город, особенно до 1812 года. Скорее же после, освещенная пламенем и славою, обратилась она в провинцию: многое из того, что придавало ей особенный характер и особенную физиономию, все что, одним словом, составляло душу её безвозвратно исчезло в пожаре, начиная с того, что Москва материально обеднела и истощилась. Спустя несколько лет после, она, конечно, возродилась снова, но уже в других условиях, в новой обстановке и значении, но все же была она ни что иное как первый из провинциальных Русских городов. Некоторые из перво-

степенных представителей её сошли в могилу, другие по изгнании Французов из Москвы переселились в свои деревни, третьи – за границу и в Петербург, напр., между последними Ю. А. Нелединский. Он имел в Москве прекрасный дом, около Мясницкой, который впрочем уцелел от пожара. Он давал иногда великолепные праздники и созывал на обеды молодых литгераторов – Жуковского, Д. Давыдова и других. Как хозяин и собеседник, он был равно гостеприимен и любезен. Он любил Москву и так устроился в ней, что думал дожить в ней век свой. Но выехав из неё 2 сентября, за несколько часов до вступления Французов, он в Москву более не возвращался. Он говорил, что ему было бы слишком больно возвратиться в нее и в свой дом, опозоренные присутствием неприятеля. Это были у него не одни слова, во глубокое чувство. Кстати замечу в этом доме была обширная зала с зеркалами во всю стену. В Вологде, куда мы с ним приютились, говорил он мне однажды, сокрушаясь об участи Москвы: «Вижу отсюда, как Французы стреляют в мое зеркало», и прибавил смеясь: «впрочем, признаться должно, я и сам на их месте дал бы себе эту потеху». По окончании войны перемещен был он из Московского департамента в Петербургский сенат и прожил тут до отставки своей.

Тогдашняя допожарная Москва имела несколько подобных средоточий общежития. В 805 году был я слишком молод, чтобы посещать и знать их коротко. Но дом отца моего мог дать мне понятие о светской жизни той эпохи. Я

мел несчастье лишиться отца моего, князя Андрея Ивановича, в летах, едва выходящих из отрочества. Но первые впечатления мои подтвердились позднее отзывами о нем людей образованных и бывших в нем в постоянных и дружеских сношениях. А потому и могу искренно говорить о нем, не подвергаясь опасению быть подозреваемым в излишнем сыновнем пристрастии. Мой родитель был один из образованнейших, почтеннейших и любезнейших людей своего времени. Он владел даром слова, любил разговор, обмен мыслей и мнений, даже любил споры, но не по упрямству убеждений своих, не по тщеславию ума, довольного самим собою, но по любви к искусству и в оживлению беседы. Он любил спор для спора, как умственную гимнастику, как безобидную стрельбу в цель, как фехтованье, удовлетворяющее личному самолюбию, но не оставляющее по себе раны на побежденном. Он знал несколько иностранных языков, особенно хорошо знал Французский; Русский знал он более на практике, нежели литературно и грамматически, как и большая часть Русского общества в то время, которое писало умно и дельно, но с ошибками против правил правописания. Жуковский сказывал мне, что он часто в разговоре с ним дивился ловкости и меткости, с которыми бегло переводил он на Русский язык мысли и выражения, явно сложившиеся в уме его на языке Французском. Когда замечал он кокетничанье молодых дам, он говорил, что она *пересеменяет*, и этотвольный перевод Французского слова пошел в ход и употреб-

лялся в обществе. Помню, что князь И. И. Долгорукий, долго после смерти отца моего, шутя жаловался мне на него за подобные переводы. Князь Андрей Иванович был в последний год царствования Екатерины Нижегородским и Пензенским генерал-губернатором, а князь Долгорукий под начальством его – вице-губернатором в Пензе. Вместо того, чтобы, следуя Русскому обычаю, называть его по имени и отчеству, он, в разговоре обращаясь в нему, говорил: г. вице-губернатор, как говорится во Франции: *Monsieur le président*; *Monsieur le conseiller* и т. д. Мой отец довольно блистательно прошел свое служебное поприще. 20 лет с небольшим был он уже полковником и командовал полком. Не знаю, чеху приписать такое скорое повышение, но верно уже – не искательству, чему служит доказательством, что, находясь под начальством князя Потемкина в Турецкую войну, был он с ним в неблагоприятных сношениях: слышал я, что князь находил молодого человека через чур независимым и гордым. Впрочем с самых ранних лет мой отец имел доступ в великому князю Павлу Петровичу и был одним из ближних ему товарищей. По кончине Императрицы и по уничтожении наместничеств был он назначен сенатором в Москву. В сем звании получил он чин действительного тайного советника и орден св. Александра Невского. Вскоре потом в то же царствование императора Павла был он вовсе уволен от службы; ему было тогда около 50 лет. Последние годы жизни своей, совершенно свободные от служебных и даже светских обязанностей

(потому что он мало выезжал из дому, и то единственно по утрам для прогулки и навещания родственников и ближайших друзей), провел он в Москве в собственном доме, у Колымажного двора. По тогдашним понятиям и размерам, дом был довольно большой, с очень большим двором и садом. Он жил открыто, но не по тогдашнему обычаю, т.-е. не давал ни праздников, ни больших обедов, а принимал гостей ежедневно, по вечерам, за исключением трех или четырех летних месяцев, которые проводил в своей подмосковной, селе Остафьеве. Большую часть дня просиживал он за книгою у камина в больших, обитых зеленым сафьяном креслах, которые мне еще памятливы и знакомы были почти всей Москве. В доме была значительная библиотека, ежегодно обогащаемая новыми произведениями Французской литературы. Он был деятельным потребителем тогдашних книжных лавок, Рица и Курделя (кажется так). Любимое чтение его были исторические и философические книги; урывками и тайком обращали они на себя мое ребяческое внимание. Помню между прочими книгу знаменитого Французского врача и физиолога Cabanis: *Rapports du physique et du moral de l'homme*. За этим чтением и в упомянутых выше креслах заставляли это приезжающие гости, начиная с 9 часов вечера. Иногда съезжалось пять-шесть человек, иногда двадцать, иногда пятьдесят и более, и все незванные. Приемное помещение заключалось в двух небольших комнатах, из которых одна называлась *зеленою*, другая *диванною*, и то и другое название бы-

ло знакомо Москвичам. После разговора, продолжавшагося около часу за чаем, ставились карточные столы для охотников, к которым и сам хозяин принадлежал. Этих столов было иногда так много, что князь Як. Ив. Лобанов-Ростовский шутя предлагал хозяину устроить висячие столы и стулья для удобнейшего размещения гостей. Когда нечаянный их наплыв принимал слишком большие размеры, то молодежь отправлялась в другие нежилые покои, более обширные гостиные, назначенные для экстренных случаев; тут предавалась она или играм, или пляске, при наскоро устроенном, но впрочем очень умеренном освещении, и под музыку домашнего оркестра, состоявшего из скрипки и флейты. Тот же князь Лобанов говаривал: «кажется, люди живут в одном доме, а нет между ими никакого согласия». Скрипач был наш буфетчик, а флейтист – дядька мой Никита Егоров. Вношу имя его в мою летопись, во первых, из благодарности к памяти его, а во вторых, потому, что впоследствии времени он очень забавлял нас с Жуковским, когда случалось ему быть в пьяном виде, что, сказать правду, случалось ему едва-ли не каждый вечер. Он тогда читал нам безграмотные и безтолковые произведения пера своего. Как сказали мы выше, родительский дом не отличался ни внешнею пышностию, ни лакомыми пиршествами. Опять тот же князь Лобанов говорил мне долго по кончине отца моего: «уж, конечно, не роскошью зазывал он всю Москву, должно признаться, что кормил он нас за ужинами довольно плохо, а когда хотел похва-

статься искусством повара своего, то бывало еще хуже».

Первые мои детские и отроческие впечатления сливаются в памяти моей с воспоминаниями о замечательных лицах, которых видал я у отца моего. Тут рано свyksя я с внешнею жизнью и обстановкою образования. Эти явления были для меня более галлереею отдельных портретов, нежели полною картиною действительности. Знакомства и сближения с лицами быть не могло. Но все же чуткое свойство отрочества не лишено было некоторой восприимчивости. С учителями своими, признаться должно, учился я плохо; но мне сдается и ныне, что эта живая атмосфера, в которой я жил, хотя и не сознательно, была для меня не совсем бесполезною школою. Постараюсь оттиснуть хотя бегло и слегка кое какие фотографии из моей памяти. Лицо моего отца делается явственнее при начертания среды его окружавшей. Некоторые из этих лиц были Москвичами и постоянными посетителями нашего дома; другие заезжие в Москву. В числе последних начнем с канцлера графа Александра Романовича Воронцова. Он долго управлял иностранными делами государства. Князь Андрей Иванович был с ним особенно дружен и вел с ним постоянную переписку на Французском языке. У обоих почерк был почти недоступен глазам простых смертных. Мой отец обыкновенно диктовал свои письма сестре моей, бывшей после замужем за князем Алексеем Григорьевичем Щербатовым. Но граф писал собственноручно. Письма его были нередко предметом напряженных изучений и усилий,

на которые сзывались все домашние, от мала до велика, а иногда и посторонние.

Братья Зубовы, князь Платон и князь Валериан.

Еще помню красивое лицо и деревяшку последнего, сильно поразившего мое внимание. Из двух братьев, кажется, с ним особенно дружен был мой родитель. Помню, как, в царствование Императора Павла, он в дорожном платье прямо въехал к нам в дом, проездом из ссылки своей в Петербург. Кажется, что князь Андрей Иванович по связям своим отчасти даже содействовал возвращению его из ссылки, о чем после, вероятно, и сожалел и упрекал себя, хотя лично и любил его.

Светлейший князь Петр Васильевич Лопухин. Письма его к моему отцу, хотя писаны и не очень грамотно и на Французском, и на Русском языке, отличаются некоторою живостью и литературностию. В них встречаются цитаты из Diderot, что дает легкое, но довольно верное понятие о диапазоне тогдашнего настроения умов и верований. Многие полагают, что в жизни и привычках отцов наших литературная стихия или вовсе не существовала, или была едва заметна. Это совершенно противоречит истине: деды и отцы были гораздо литературнее внуков и сыновей. Можно решительно сказать, что нигде и никогда не было двора столь литературного, как двор Екатерины II-й. И Людовик XVI, покровительством, оказанным Расину и Мольеру, и сам Фридрих Великий, сей ученик Вольтера на Прусском престоле, не мо-

гут затенить в этом отношении блеск Петербургского двора. У Екатерины Великой был, так сказать, собственный литературный секретариат: Храповицкий, Козицкий и другие лица, между прочими государственными делами, занимались при ней и литературными. Великий князь Павел Петрович и великая княгиня Мария Феодоровна имели в Париже литературного корреспондента, в лице ныне только-что известного, а в свое время знаменитого писателя Лагарпа. Письма эти, впоследствии изданные, представляют любопытную картину тогдашней современной литературы. В отсутствии всякой принужденности и официальной чопорности, они приносят честь и писавшему их и тем, к которым они были писаны. Подобные примеры, истекающие из царского двора, не могли не иметь увлекательного и значительного влияния на людей приближенных к двору, на высшее общество, а потом и на средние слои его. Вельможи и государственные люди, как Шуваловы, Бецкие, Румянцевы и другие, вступали также в переписку с иностранными писателями, особенно Французскими, и каждый хотел иметь в своем портфеле хотя одно письмо Вольтера или Д'Аламбера. Не касаясь настоящего времени, чтобы с ним не ссориться можно искренно и положительно сказать о прошедшем, что некоторая часть высшего нашего общества была гораздо выше нашей тогдашней литературы. Любознательность, вкус, потребность в умственных наслаждениях были пробуждены *и тонко изоощрены*. Не скажу, чтобы уровень просвещения был тогда возве-

ден на значительную степень. Учение, положительные знания были довольно поверхностны. Но все же не было не только невежества, но не было и равнодушия к уму и его проявлениям. Пожалуй можно витиевато и сердито восставать на тогдашнюю французотию. Но справедливы ли будут эти нарекания? Здесь кстати припомнить Русскую пословицу: нужда научит есть калачи. Любовь, алчность к чтению сильно давали себя чувствовать в высшем обществе, а домашнего хлеба не было. По прочтении нескольких Русских поэтов, и пожалуй двух трех Русских книг, образованные и мучимые голодом читатели по неволе должны были кидаться на Французские книги. В переводах с иностранных языков, особенно с Французского, они не нуждались, потому что могли читать подлинник. Переводами они пренебрегали, а в туземных произведениях родной почвы был недостаток. Что же оставалось им делать? Неужели безграмотность или совершенная бесчитательность, из упрямой любви к родному и благоразумного презрения к иностранному, были бы благоразумнее и лучше? Знаю, что ныне некоторые патриоты-публицисты, из ненависти ко всему привозному, негодовали бы на разрешение привоза хлеба из заграницы, в случае общего неурожая в России. Но патриотизм прежних поколений не доходил до этого геройского самопожертвования.

Князь Лопухин имел, как сказывают, много природного ума и Русского шутивого остроумия. Помню, как однажды, в проезд его через Москву, представлялись мы ему с Ка-

рамзиным и почти всею Москвою, что было в обыкновении при всех проездах сановников и высших государственных людей. Тогда только что получено было известие о назначении Мертвого генерал-провиантмейстером, «увидим, сказал князь, что будет от Мертвого, а от живых по этой части доселе проку было мало». При Екатерине князь был в С.-Петербурге полициеймейстером, и цензура книг была ему подведомственна; позднее, когда он был председателем государственного совета, а Дмитриев – министром юстиции, и дела цензуры стали многосложнее и щекотливее, – «а помните ли, говорил он Дмитриеву, как в наше время все это проходило тихо и просто? В залу, куда собиралось множество народа и всякого звания, кто с прошением, кто с схваченным на улице за шум, пьянство или буйство, ты бывало приносил мне свою рукопись, – я наскоро прочитывал ее, подписывался на ней, и дело с концом». Дмитриев поступил на место его в звании министра юстиции и в дом, по этому званию им занимаемый. Спустя несколько дней князь, встретясь с ним, спросил его: «Как устроились вы в министерском доме и приняли ли вы в целости всю казенную мебель»? Дмитриев был очень щекотлив и раздражителен; такой вопрос показался ему странным и неуместным, и отвечал он довольно сухо. Вы видно меня не понимаете, сказал ему князь: я говорю о – и тут назвал он одного из сенаторов, который был неизменною принадлежностью каждого министра юстиции и его то причислял он в мебели казенного дома.

Николай Семенович Мордвинов, один из старейших и ближайших друзей отца моего, у коего в доме он со всем семейством однажды останавливался и прожил несколько времени, проездом в Петербург. Он и тогда уже имел эти распущенные седины, которые до глубокой старости придавали особенную прелесть и красоту его свежему и юно-старческому лицу. Ханыков, воин, поэт и дипломат. Он более и удачнее писал по французски, но в *Аонидах* Карамзина встречаются и Русские стихи его, помнится – на смерть брата, не чуждые дарования и согретые сердечною теплотою. Он очень был остер и любезен, но и очень некрасив, а между тем очень занять собою. Беда, говорили о нем, когда в разговоре глаза его попадут на зеркало: тут прости все любезности и ум его! Он начнет охорашиваться и чтобы опять привести его в себя, нужно собеседнику его лавировать его от зеркала.

Князь Белосельский. Человек умный, до высшей степени любезный, ума образованного, но одержимый недугом метромании; он прославился своими эксцентрическими Французскими стихами. На Русском языке много шума наделала опера его «Олинька». В царствование Императора Павла была разыграна она на домашнем и дворовом театре Столыпина. Поэтические и другие вольности были доведены в ней до самых крайних пределов, так что вся присутствующая публика пришла в соблазн и негодование. Это был настоящий драматический гвалт: дамы с ужасом выбегали из залы, и скоро весь город наполнился молвою об этом представле-

нии. Слухи об этом соблазнительном происшествии дошли до Петербурга, и от правительства потребована была рукопись этой оперы. Испуганный князь Белосельский прибежал в приятелю своему Карамзину и просил его кое-как и на скорую руку очистить текст от слишком скоромных выражений и заменить их другими более приличными. В таком экспургационном виде рукопись немедленно отправлена в Петербург. И концы в воду: тем дело и кончилось. Автор и содержатель театра Столыпин спасены от дальнейших взысканий. Очищенная опера была после напечатана и должна составлять ныне литературную редкость. Князь Белосельский был нравственною физиологическою загадкою. И до него, и при нем, и после него видали умных людей и вместе с тем плохих стихотворцев; но у него, по известному выражению П. В. Мятлева, первые три пальца правой руки одержимы были горячкою, когда он брался за перо. Мне сказывали, что в раннем детстве моем я был с ним в переписке, и что он называл меня своим поэтом. Это для меня предание доисторическое. Но помню, что он всегда был ко мне очень ласков.

Федор Иванович Киселев (родной дядя графа Павла Дмитриевича). Еще вижу пред собою львиную голову его, о которой могут дать некоторое понятие портреты Мирабо, тем более, что и его лицо было изрыто оспою. Помню Владимирскую звезду 2-й степени на его фраке, знак отличия, который в то время был еще довольно редок. Он человек был пылкий и страстный, между прочим, к карточной игре,

которая раззорила состояние и здоровье его. Он целые ночи просиживал за картами. Тогда вели в Москве крупную, азартную игру. У нас в доме по вечерам также играли много, но единственно в коммерческие игры и преимущественно в бостон, бывший в общем употреблении. Кто-то сказал, что в этой игре имеешь дело с двумя врагаки и одним предателем, т.-е. с тем, который вам вистует. Киселев был остер и резок на язык: в словах и шутках его отзывалась острота и шутка, совершенно Русского свойства, что тогда встречалось часто. Французская шутка обыкновенно отвлеченна и улетушена: она ударить в голову, пощекочет мозг и тут же выдыхается, как шампанское вино; Русская шутка полновеснее: ее почти всегда можно представить в лицах; в ней, если она удачна, должно быть всегда что то живописное и драматическое. Оттого она и более живуча. Русская шутка не берет сразу; ей нужно несколько устареть и частыми повторениями войти в свои права. Это доброкачественное вино, которое и на первый год вкусно: но чем дальше, тем лучше и разъемистее. Мне часто хотелось составить новую Россияду из шуток, поговорок, острых слов, запечатленных особым руссизмом. Есть некоторый склад ума, некоторое балагурство, краснобайство, которое так и пахнет Русью, и этот запах чутся не только в том, что называется у нас народом, – нет, не во гнев будь сказано оплакивающим разьединение высшего общественного класса с низшим, как будто не всегда и не везде развивалось и должно в некоторой степени развивать-

ся такое историческое разъединение – нет, этот склад, этот норов Русского ума встречается не только в избе, на площади, на крестьянских сходках, но и в блестящих салонах, обставленных и проникнутых принадлежностями, воздухом и наитием Запада.

Мы упомянули выше, что Киселев, многими любимый и уважаемый, был нрава несколько крутого и желчного, следовательно имел и недоброжелателей. «Отчего это, Федор Иванович, многие вас не любят?» кто-то спросил его. – А почему же всем любить мейя? отвечал он: разве я червонец? – Однажды предлагали ему войти в масонскую ложу. Мне известно, отвечал он, что масоны разделяются на две степени – на *биратусы* и на *донатусы*: в числе первых быть не хочу, в числе последних – и подавнее.

Вскоре по возвращении из армии, после заключения Тильзитского мира, кн. Дм. Ив. Лобанов-Ростовский говорил однажды при нем, на вечере у отца моего: «странная судьба моя! Живу себе преспокойно на своем винном заводе и занимаюсь хозяйством. Вдруг получаю Высочайшее повеление явиться в армию и тут-же подписываю прелиминарии Тильзитского мира». – Да, в самом деле, очень странно, возразил Киселев, прикладывая правую руку к щеке своей – что бывало обыкновенным движением его, когда он готовился выпалить красным или острым словцом: «если после подписания этих прелиминарий сослали бы вас на завод, то оно было бы понятнее». – Кстати о Лобанове. Я слышал от

него, что за обедом у Наполеона разговорились о Екатерине Великой. Наполеон много его расспрашивал о ней. Князь Лобанов уже в её царствование был действующим лицом, — он, как все современники и сослуживцы его, признательно и горячо предан был её памяти. У него при рассказе навернулись слезы на глазах. Наполеон это заметил и сказал: «Видишь, Бертье, как Русские любят и помнят своих царей». В подписании упомянутых прелиминарий кн. Лобанов оказал удельную находчивость: Французский уполномоченный подписал: Berthier, prince de Neufchâtele. Лобанов, чтобы не отстать от него, подписал: Lobanoff prince de Rostoff.

После Киселева упомянем о Павле Никитиче Каверине. Вот тоже был коренной Русский ум, краснобай, искусный и живописующий рассказчик. Он долго был обер-полицеймейстером: знал многих и многое, чего другим не удавалось знать. Все это изощрило ум его, тонкий и проницательный от природы. Он был в приятельских сношениях с Карамзиным и Дмитриевым и близкий человек в доме нашем. Карамзин всегда с уважением упоминал об одном случае, который хорошо характеризует и его нравственные качества. Незадолго до вступления неприятеля в Москву, граф Ростопчин говорил ему и Карамзину о возможности предать город огню и такую встречу угостить победителя. Каверин совершенно разделял мнение его и ободрял с приведению в действие. А между тем у небогатого Каверина все достояние заключалось в домах, кажется в Охотном ряду, которые

отдавались в наем под лавки Московским торговцам. После детского знакомства моего с ним, я имел случай сблизиться с ним в зрелых годах моих; я часто уговаривал его составить на досуге записки свои. Не знаю, исполнил-ли он мое желание.

Сюда просится еще одно лицо, также отпечаток Русский и в старину известный остроумиями, балагурством и проказами своими Копьев. Он также был из близких людей в доме нашем и даже когда-то в нем жил. В это время и вследствие некоторых обстоятельств он крепко озаботил и напугал отца моего. Копьев помолвлен был на богатой невесте: однажды на вечере заснул он, сидя возле неё; пробуждение было несчастное. Обиженная невеста отказала ему. Он был в отчаянии и говорил о самоубийстве. Несколько дней родители мой и приставленные к нему люди день и ночь караулили его, Все обошлось благополучно. Помню одну сцену, которой в детстве я был свидетелем: за ужином у нас, где посторонним был один Копьев, он вероятно о чем-то и о ком-то похвалялся: подробностей не помню. Отец мой сказал ему что-то в этом роде: «ну, полно Копьев! как же это могло быть так? Ты тогда был еще молодым и неизвестным человеком, едва вступившим в свет и в службу. А тот – чуть-ли не шла речь о Петре Васильевиче Мятлеве, – был уже и в чинах и занимал почетное место в обществе». Оскорбленный Копьев вскочил из-за стола и сказал: «видно, князь, вы судите о людях по чинам: если так, то не иначе возвращусь к вам до дом, как

в генеральском чине», – и выбежал из комнаты. Этот упрек, который вовсе не мог метить в отца моего, не смутил его, и он очень смеялся выходке Копьева. Дело в том, что как и было: спустя несколько лет, Копьев явился генералом в Москву и в дом отца моего, который, разумеется, принял его, как ни в чем не бывало. После и гораздо позднее вторично встретился я с Копьевым. В нем были еще кое-какие замашки осгроумия, но уже не было прежнего пыла и блеска. Дело в том, что если Русская шутка не стареет, то Русские шутники, как и все другие люди, могут легко состариться. Копьев имел довольно значительное лицо: он был очень смугл, с черными выразительными глазами, которыми поминутно моргал; говоря, он несколько картавил и вместе с тем отчеканивал слова свои каким-то особенным ударением. Копьев написал комедию: *«Лебедянская ярмарка»*. Вероятно, в свое время имела она некоторый успех, по крайней мере в детстве моем слышал я некоторые повторяемые из неё шутки.

Граф Лев Кириллович Разумовский. Вот верный тип истинного и благородного барства. Одна уже наружность его носила отпечаток аристократии: высокого роста и приятного лица; поступью, стройными движениями, вежливостью отличался в образованной и вежливой среде своей. Он смотрел, мыслил, чувствовал, действовал барином. Ум, образованный учением, чтением и любовью во всему прекрасному, нрав мягкий и доброхотный, – в то время, по Французским поговоркам, говорили: *«poli comme un grand seigneur»*

и «insolent comme un valet». Подобная оценка может служить вывеской старого общества и едва-ли не за ним исключительно осталась. Помню, как в детстве радовался я ловкости, с которою, приезжая он к нам зимою, кидал он в первой комнате на стул большую белую муфту свою. В молодости своей был он сердечником и счастливым обожателем прекрасного пола. Дмитриев рассказывал мне, что когда они по Семеновскому полку дежурили вместе на гауптвахте, он поминутно получал и писал цидулочки на тонкой душистой бумаге. Впоследствии, в доме своем на Тверской, ныне знимом Английским клубом, и в своей подмосковной, известном Петровском-Разумовском, он жил открыто, давал балы, концерты, спектакли и радушно угощал Москву. В доме его был зимний сад, богатая библиотека и красивые произведения художеств – картины, статуи. Он в детстве моем особенно ласкал меня, всегда вступал со мною в разговор, повторял другим мои так-называемые острые детские слова, что, разумеется, льстило моему раннему самолюбию и привлекало меня к его личности. Однажды очень смеялся он ответу моему на вопрос: как доволен я Немецким своим дядькой, который – будь сказано между нами – немного попивал: *Il est bon, mais il cultive trop la vigne du seigneur*. Позднее опять встретились мы с ним в жизни, я по преданиям, и по сочувствию был с ним, не смотря на разность лет, в приятельских сношениях. Впрочем, могу сказать, что я имел счастье воссоздавать эти наследственные связи и с некоторыми други-

ми приятелями родителя моего. В молодости моей я не чуждался беседы с стариками; в зрелых летах и в старости равно сближался я с молодежью. Это, так сказать, расширяло круг жизни моей и обогатило меня многими впечатлениями и воспоминаниями.

Граф Бутурлин. Я уже упоминал о нем, как о знаменитом библиофиле. Еще были у него два особенные свойства, а именно: лингвистическое и топографическое. Не только знал он твердо многие европейские языки, но и различные их областные наречия. Он был в свое время маленький Меццофанти. Никогда еще не выезжавши из России, он хранил в памяти планы первейших столиц и городов в Европе, со всеми зданиями, площадями, улицами и закоулками. Это служило часто поводом к забавным мистификациям над иностранными путешественниками, посещавшими Москву. Он закидывал их своими сведениями и выдавал себя за человека, объехавшего Европу и обратившего долгое и рачительное внимание на приобретение этих разнообразных и мелочных сведений. Каково же было изумление слушателей, когда узнавали они, что этот полиглот, что этот наблюдательный странствователь никогда не переступал Русской границы.

Князь Андрей Иванович, находившийся в дружбе с замечательными современниками своими и со старшими, был очень приветлив и к молодежи, которая ему сочувствовала и уважала его. Из числа молодых людей назову князя Петра Петровича Долгорукова. Он был генерал-адъютант Импера-

тора Александра Павловича и любимец по восшествии его на престол. Но не долго пользовался он своим счастьем и умер в молодых летах. По бабке моей, жене князя Ив. Андреевича, урожденной Долгоруковой, мы находились в родстве с этою фамилиею. Ныне семейные узы значительно укоротились. Не смотря на свою молодость, Долгоруков был, так-сказать, представителем или предтечею того, что после начали называть ультра-русскою партиєю; ненавидя властолюбие Французов и особенно Наполеона, он был – сказывают – одним из сильнейших побудителей войны, которая несчастно запечатлена была Аустерлицким сражением. Наполеон (не помню в точности, где и когда) не пощадил князя Долгорукова, упрекая Императора Александра, что он поддается побуждениям и советам молодых, неопытных людей, его окружающих. Готовясь к войне 1812 года, Государь писал Чарторижскому: *esprit publique est excellent, en différant essentiellement de celui dont vous avez été témoin: il n'y a plus de cette jactance, qui faisait me briser ennemi.* В этих словах может быть есть обратный намек на Долгорукова. Вижу словно теперь, как князь Долгоруков в самый день коронации приехал к нам вечером, вероятно, прямо из дворца, в полном мундирном облачении. Долго длился разговор его с отцом с глазу на глаз. Родитель мой, хотя никогда не пользовался отменною милостию Императора Павла, на которую так был он щедр с некоторыми лицами, и хотя никогда не принадлежал к так-называемой Гатчинской партии, был однакож, как

говорится, на хорошем счету у Императора. Сам же он предан был ему глубоко и горячо. Мы уже сказали, что в молодых или отроческих летах был он приближенным к обществу молодого цесаревича. Знавшие коротко внутренния качества Императора, например, Нелединский, мой родитель и другие, достойные уважения и доверенности люди, отзывались всегда о нем с живым и особенным сочувствием. Они могли жалеть о некоторых действиях и явлениях его правления, но всегда отдавали справедливость природным, прекрасным его чувствам и правилам. Помню, как родитель мой поражен был известием об его кончине и от скорби занемог, как Нелединский, не иначе, как со слезами на глазах, вспоминал и говорил о нем. Вероятно, разговор Долгорукова с родителем моим имел предметом последние события и виды и надежды на те события, которых можно было ожидать при новом царствовании.

Граф Никита-Петрович Панин. Довольно живо помню его холодное и несколько строгое лицо. Во время учреждения первой милиции был он избран Смоленским дворянством в областные начальники. Император Александр не утвердил этого выбора; вследствие того возникла переписка. Письма графа Панина отличались резкостью выражений. Их читали у нас в доме, и мой отец резюмировал их выражением также не совсем парламентарным, которого я тогда не понял, а теперь не могу поверить. Граф Панин редко являлся в Москву. После отставки, не имея позволения жить в Петербур-

ге, он жил почти безвыездно в своей деревне (Смоленской губ.). Он был страстный охотник, и охота его была устроена на иностранную богатую руку. Вероятно после его должно было остаться много любопытных и важных бумаг, как собственно им собранных, так и документов исторических прежнего времени и писем к отцу его графу Петру Ивановичу, одному из замечательнейших лиц царствования Екатерины Великой. В книге моей о Фон-Визине мельком упоминаю о нем и о сокровищах, которые могли сохраниться в его семейном архиве. Помню о переписке графа Никиты Петровича с графом Ростопчиным, напечатанной, кажется, во Французском Монитере. Дело идет о каком-то письме, вероятно найденном Французами в Москве и напечатанном в Париже по приказанию Наполеона. В этом письме, будто писанном гр. Ростопчиным Российскому послу в Лондоне, графу Воронцову, неблагоприятно упоминается о графе Никите Петровиче. Сей последний письменно требовал от графа Ростопчина объяснения и вместе с тем опровержения упомянутых нареканий. Князь Сергей Долгорукий, прозванный *Le prince Calembourg*, потому что он отличался в этой гимнастике слов и мыслей. При сестре моей была старая Французская гувернантка *M-lle Perlot*. Долгорукий говорил, что нет ей опасения умереть от водяной (*perd l'eau*). В то время на досуге не стыдились читать *Mercur de France* и ломать себе голову над разгадыванием шарад и логогрифов, в нем печатаемых. Что-ж делать! Приверженец и поклонник старины,

винюсь и каюсь в этом грехе наших отцов. В семейных бумагах нашел я следы игры *секретарь* и разных буриме. Однажды вечером какая-то загадка в журнале утомила головоломные упражнения собравшихся Эдипов. Но все было безуспешно: сфинкс не давался в руки. Так я разошлись. Поздно ночью, уже к утру, будят отца моего и приносят ему письмо от Долгорукого. Он встревожился я ожидал какой-нибудь беды: может быть Долгорукий внезапно сильно занемог; может быть, вызвал он на поединок и приглашает он друга своего в секунданты. Страшен сон, да милостив Бог. Долгорукий, возвратившись домой, не успокоился и не заснул, покуда, наконец, не напал на сфинкса. Опасаясь, чтобы кто-нибудь другой не предупредил его, спешил он заявить отцу моему свою находку. Впрочем, как Долгорукий, как и многие его сверстники, хотя и соревновал с Французами в каламбурах и шарадах, но не менее того храбро дрался против их, когда задавали они другие задачи на решение. Под ядрами и пулями их и сам направляя в них таковые же, стрелял он в них в отечественную войну Французскими каламбурами. Известна шутка его, сказанная после Тарутинского сражения. Он приписывал Наполеону следующее обращение к Кутузову: *Vieux rentier sa routine m'a dérouté*. Когда разнесся слух, что взят в плен генерал *Le Pelletier*, он предсказал, что Французы замерзнут в Россия, потому что они потеряли *le pelletier général de l'armée française* (генерального меховщика Французских войск).

В эту фотографическую перечень просится и князь Александр Николаевич Голицын. В царствование Императора Павла был он сослан в Москву в одно время с Гурьевым (впоследствии министром финансов). Разумеется в ссылке своей были они рады дому отца моего. Князь Андрей Иванович прозвал его *le petit commandeur*. Родитель мой любил раздавать подобные забавные и невинные прозвища в приятельском кругу своем. Впрочем, это народная и простонародная черта. В деревнях редко встречаешь крестьянина, не имеющего какого-нибудь особого прозвища. Таким образом прозвал он Неаполитанским королем Михаила Михайловича Бороздина, который некогда занимал Неаполь Русскими войсками, находившимися под начальством его. А одного из временщиков царствования Императрицы Екатерины Ивана Николаевича Римского-Корсакова называл он Польским королем, потому что он постоянно носил по камзолу ленту Белого Орла, которая в то время была еще редкостью в России. Князь Голицын был необыкновенно любезный человек и мастер рассказывать на Русском и Французском языке. Он также был живые записки о трех царствованиях. Жаль, что эти записки выдохлись в одних разговорах. Замечательно, что он оставил Петербург и государственную службу еще живо. В Крымском уединении своем *Гаспра*, на южном берегу, посвятил он себя исключительно духовной и созерцательной жизни: впрочем, и созерцательной почти в одном духовном отношении, потому что не мог он любоваться прекрас-

ной горной природою, лишившись в последнее время жизни своей зрения. Но и тут, по свидетельству знавших его, не терял он живости ума и прелести разговора. Это уединение и отшельничество его напоминают примеры некоторых Французских вельмож и светских людей старой Франции, которые также после боевой и страстной жизни, оканчивали дни свои в Port-Royal, или в какой-нибудь другой духовной общине.

Расшевелившаяся память моя выдвигает вперед еще одно лицо, некоторым образом посторонне и случайно принадлежащее к картине, которую уставляю. Но оно относится к той же эпохе и было у нас домашнее. Одна черта из жизни его, мне памятная, так оригинальна, что стоит привести ее. Речь идет о музыканте M-er George, кажется, Англичанине. По назначении князя Андрея Ивановича генерал-губернатором, семейство наше, т.-е. матушка с детьми и другими домашними лицами, ехали мы в Нижний-Новгород в большой линейке. Тогда взыскательности комфорта мало были известны. Ночью кто-то просыпается и видит, что соскочил кожаный фартук с линейки, а место, занимаемое матерью моей, пусто. Общий испуг: все спрашивают: да где же княгиня? Уж несколько минут, что она упала – отвечает Жорж с невозмутимым британским флегмом. По счастью обошлось благополучно: матушка не ушиблась. Падение её и слова Жоржа возбудили общий смех, который всегда повторялся в доме нашем при рассказе об этом происшествии.

*Еще одно последнее сказание, тоже вставка, но в котором я*

разыгрываю если не действующую роль, то страдательную. В первых годах моего детства (мне было тогда года 4 или 5) был при мне в должности дядьки Француз La Pierre. Не знаю, какие были умственные и нравственные качества его, по крайней мере мне памятно, что он не грешил потворством и баловством в отношении к барскому и генерал-губернаторскому сынку. Видно, привилегии аристократии, против которых так вопиют в наше время, не заражали тогда детей своим тлетворным влиянием. Дело в том, что господин Лапьер, не помню именно за что и про что, секал меня бритвенным ремнем. Лет 30 спустя, бывши в Нижнем-Новгороде, заходил я в дом, тогда нами занимаемый. В нем отыскал я впрочем не памятью сердца, а разве памятью чего-нибудь другого, или чуялось мне, что, отыскал я комнату, в которой подвергался я этим экзекуциям. Но я не злопамятен. Признаюсь, не разделяю благородного негодования, которым воспаляются либералы и педагоги-недотроги, при одной мысли об исправительных розгах, употребляемых в детстве. Во-первых, судя по себе и по многим из нашего сеченого поколения, я вовсе не полагаю, чтобы телесные наказания унижали характер и достоинство человека. Все эти филантропические умствования по большей части ни что иное, как суемыслие и суесловие. Дело не в наказаниях, а дело в том, чтобы дети и взрослые люди, подвергающиеся наказанию, были убеждены в справедливости наказателя, а не могли приписывать наказание произволу и необдуманной вспыльчивости. Не при-

знаю сечения радикальным пособием для воспитания малолетних: но и отсутствие розог не признаю также радикальным способом для нравственного образования и посеяния в детях благородных чувств. Эти благородные чувства могут быть равно посеяны и с розгами, и без розог. Но при нашем, отчасти при материальном сложении, страх физической боли особенно в детстве имеет, без сомнения, значение свое. К тому же разве одни розги принадлежат к телесному наказанию? Разве посадить ребенка или взрослого человека на хлеб и на воду не есть также телесное наказание? А запереть провинившагося в школьный карцер или в городскую тюрьму не то же телесное наказание? А заставить ленивого и небрежного ученика написать в рекреационные часы несколько страниц склонений или спряжений – неужели и это духовное, а не прямо телесное и физическое наказание? При нашей немощи, при погрешностях и пороках, которым зародыш находится и в детстве, при страстных и преступных увлечениях, которым подвержена человеческая природа, нам нужен тем или другим способом действительный, воздерживающий нас страх. Этот необходимый внутренний нравственный балласт ныне многие хотят бросить за борт. Они хотели бы изгнать всякий страх из детства, из взрослых людей, из политического и гражданского общества. Они хотели бы уничтожить страх на земле, и вне и выше земли. Известная аксиома: дайте воле идти (*laisser faire, laisser passer*), которую экономисты прикладывают к матери-

альным силам и движениям промышленности и торговли, может быть, еще имеет свой смысл и свою пользу в этом отношении; но неблагоприятно, нелепо хотеть приспособить ее к нравственным и духовным силам человека. Нет спора, что без страха, без этой, так-сказать, внутренней оглядки, с этой дикою и необузданною безнаказанностью, без этого полновесного балласта, который служит уравниванием и охраною, можно идти легче и уйдти далеко. Но как и куда? вот вопросы, о которых стоит поразмыслить.

Не умею сказать, каким образом не задолго до кончины отца моего попал на житье в нам в дом старый итальянец Ротонд Батонди. Он был большой чудак и вероятно несколько тронутый. В течение нескольких лет, которые провел у нас, мы не могли дознаться происхождения его и обстоятельств его жизни. Он или умышленно скрывал, или вследствие какой-нибудь болезни, или крутого переворота в жизни, утратил сознание о себе. Одним словом, отшибло память ему. Мы всегда подозревали, что он играл некоторую роль во Французской революции. По крайней мере, ее единственно знал он, хотя ошибочно и скудно, и в разговоре своем усвоил себе её фразеологию. Впрочем, чтобы ни было прежде в жизни его, в настоящей был он очень добр, кроток и всему нашему семейству предан. Даже был он любим домашнею прислугою нашею и Остафьевскими крестьянами, хотя Русское простонародье не очень жалуется и любит чужеземных приживалов обоего пола на хлебах у барина. Был он боль-

шой охотник читать газеты и занимался политикой по своему, или, лучше сказать, по обычаю многих, которые слепо верить своей газете и вкривь и вкось судят о событиях и слухах. Обыкновенное заключение политических сведений его было *il y a quelque chose sur le tapie*. Мы уже сказали, что исключая эпохи 93-го года, которую вероятно знал он на деле и по опыту, он не имел ни малейшего понятия ни о природе, ни о мире его окружающем. Карамзин удивлялся и часто смеялся его всеобщему неведению; он не знал имени ни единого дерева, ни единого растения: точно родился он вчерашнего дня. Между тем он вовсе был не глуп и даже имел некоторую проницательность и оригинальность в понятиях и в способе их выражения, Он был роста высокого, очень толст, с чертами в лице довольно правильными и выразительными. Разумеется, он не знал и лет своих; но по видимому был он лет 60. Бывало перед самым ужином выходил он из своей комнаты и являлся в столовую с красной скуфейкой на голове – вероятно, воспоминанием о прическе своей во время оно – и с зажженной копеечной свечкою в руке. Явившись, снимал он скуфейку, гасил свечку, и обыкновенно пред собравшимися гостями начинал читать собственные философские, а иногда о современной политике рассуждения, набросанные на лоскутке бумаги. Что была за философия, что за изложение, что за слог, о том и говорить нечего. Но все было оригинально, часто нелепо и всегда забавно. Карамзин вообще не был хохотлив, но не редко и он заливался

веселым и добродушным смехом, при выходках его изустного и письменного витийства. За ужином Батонди был разумеется мишенью всяких шуток и мистификаций. Князь Лобанов, Нелединский и другие более или менее принимали в них деятельное участие. Одному Киселеву это не нравилось. «только и был дом – говаривал он – дом князя Вяземского, в котором можно было предаваться удовольствиям разумного и занимательного разговора; а теперь и тут завелись домашним медведем и все только и занимаются что травлю его».

И признаться должно, травля иногда была беспощадная. Но медведь не унывал и не сдавался. У Батонди выдавались нередко выходки довольно удачные. Однажды сказал он князю Платону Александровичу Зубову: «послушайте, князь, роль ваша кончена: вы наслаждались всеми благами фортуны и власти. Советую вам теперь сойти со сцены окончательно, удалиться в деревню, завестись хорошею библиотекой и сыскать себе, если можете, верного друга, который согласился бы разделять с вами ваше уединение».

Одна милая дана казалось равнодушна была ко вниманию к ней молодого гвардейского офицера, приехавшего из Петербурга. «Как странно играет нами судьба – сказал он ей при многолюдном обществе – некогда имели вы в рукаве своем (французское выражение *dans la manche*) несколько министров, а теперь вы сами попали в рукав молодого поручика».

Я несколько распространился о Батонди, потому что он

был характеристическая личность в доме нашем и в самом Московском обществе, прилегавшем к нашему дому. Пред вступлением неприятеля в Москву, спустя уже несколько лет по кончине отца моего, отправил я его в нашу подмосковную, село Остафьево. Он пробыл там все время пребывания Французов в Москве. Вскоре затем он там и умер, угрев ночью в своей комнате. — Карамзин в письме своем из Нижнего ко мне оплакивал его кончину. Его присутствию, а также и бывшей Швейцарской гувернантки при дочерях Карамзина, равно приютившейся в Остафьево, вероятно обязав я тем, что мой дон не был предан разорению и грабительству. Французы не стыдились Русских варваров и варварски поступали с ними, но может быть посовестились пред Европейскими свидетелями. Одними следами их наездов и набегов осталось несколько пустых мест на полках библиотеки и две-три Польские пули, вбитые во внутренние стены дона и ругательная на Русских надпись, сделанная на Польском языке. Известный партизан Фигнер заходил в то время несколько раз в Остафьево и был в хороших ладах с Батонди и Швейцаркою. Чтобы покончить с этим вводным этюдом о Батонди, заметим, что после смерти князя Андрея Ивановича, который кажется не любил графа Ростопчина, граф, по родству и связям своим к Карамзиным, сделался ежедневным посетителем нашего дома; автор «Мыслей в слух на Красном крыльце», автор комедии «Вести или убитый живой», а впоследствии знаменитых московских афишек, нередко входил

к письменное и полемическое состязание с Батонди. Не нужно прибавлять, что участие его в этих шутках придавало им особую занимательность.

В числе фотографий, отразившихся по большей части в профиль и при сумерках времен давно минувших, приведу мельком еще несколько лиц, которых видал я на вечерах у отца моего.

Разумеется, в это общество, составленное из постоянно оседлых Москвичей и из наплыва гостей, по временам наезжавших из Петербурга и из провинций, являлись и чужеземные путешественники, которые всегда любили гостеприимную и своеобразную Москву. Матушка моя была Ирландка, из фамилии *О'Рейли* и потому Англичане преимущественно находили у нас особенное и почти родное приветствие. Скончалась она за несколько лет до отца моего, когда мне было лет 10 и потому личные мои воспоминания о ней очень темны и неполны. Но по слухам знаю я, что и она была любезная хозяйка и помогала отцу моему делать дом наш приятным и гостеприимным. некоторые из путешественников в изданных ими книгах упоминали об отце моем, о любезности его, о ласковом приеме, о библиотеке его, собрании медалей и физическом кабинете. Эти иноплеменные лица менее врезались в памяти моей, нежели родные земляки. Были тут и просто путешественники, известные ныне под именем туристов, были художники и промышленники. Один Англичанин выглядывает из этих истертых и скудных воспомина-

ний. Кажется называли его Монтекс. Он приезжал из Лапландии: угадывая и предупреждая нынешнюю фотографическую картоманию, развозил он вместо обыкновенных визитных карточек свое гравированное изображение, в шубе, меховой шапке, в санях, запряженных оленями.

Мельком представляется еще один Лионский фабрикант. Отец мой был большой приверженец и поклонник консула Бонапарте. Помню, как однажды за обедом рассказал он старой своей тетке княгине Оболенской, малознакомой с современною политической историею, в сжатом и беглом очерке главные события из жизни Бонапарте и объяснил ей изумительную судьбу этого баловня и покорителя обстоятельств. По возвращении своем в Францию, Лионец, признательный отцу моему за любовь его к Бонапарте, прислал ему большой портрет его, вытканый из шелка. Сей портрет до самой кончины его висел у него на стене в спальне. Не знаю, какими судьбами тот же самый портрет пропал в Московском разгроме, как будто в знамение, что и самый подлинник скоро пропадет. В пребывание фабриканта в Москве уже готовились к первой Французской войне и говорили о выступлении гвардии из Петербурга. Кто-то за ужином довольно нескромно и необдуманно подшутил: при этом Французе сказал он, что приятель его, какой-то гвардейский офицер, обещал прислать ему пирог из Парижа. – «А сказал ли он вам – спросил на отрез запальчивый Француз – не пришлет ли он вам этот пирог в качестве пленника». Сердиться было

не за что, потому что в 1805 году никто еще не мог и видеть во сне, что в 1814 г. будем мы в Париже.

Помню еще и Гарнереня, известного воздухоплователя. Он первый познакомил Москву с аэростатом и в первое свое плавание спустился у нас в Остафьево. Но к сожалению, мы не были свидетелями этого зрелища. В самый этот день мы переезжали из подмосковной в город: дорогою любовались полетом воздушного странника, не подозревая, что он к нам собирается в гости. Памятником этого первого воздухоплавания хранится у нас и донныне в подмосковной лодка, в которой сидели Гарнерень и Московский Французский торговец Обер.

В то время толки и споры о сословиях, о *сословном духе*, о разобшении сословий, не были на очереди, но, не менее того, нравы смягчались. Правила и обычаи, внушенные просвещенною философиею и христианским братством, входили более и более глубже и благотворнее в умы и сердца. Признаюсь, я за себя рад, что в нашу молодость мы не были оглушены трескотнею слов, которая ныне раздается в журналах и в ораторских речах. Во первых рад я и потому что самое выражение *сословия* по этимологическому составу своему совершенно бессмысленно и что оно и не по русски, и не по каковски. А во-вторых, потому, что в силу какого-то рокового логического последствия и самые прения, из него истекающие, заимствуют часто бессмыслие и неправильность своего родового происхождения. Разряды, различные слои об-

ществленные, встречаются везде и должны встречаться в благоустроенном обществе. Одни дикари наслаждаются полным равенством невежества и почти животной грубости. В этом диком положении одна физическая сила дает сословную или пожалуй сокулачную привилегию. В монархическом обществе, строгое и точное распределение общественных разрядов необходимо как для пользы высших, так и для пользы низших. В республиках эти разряды или особенности составляют сами собою, или силою вещей. Нужно только, чтобы условия, выгоды одного разряда, выгоды одних лиц не были в ущерб другим, чтобы общество не было резко разделено на молоты и на наковальни, но чтобы все общественные стихии, силы и пружины содействовали друг другу в достижении общественного устройства. В числе лживых выражений, пущенных в ход в новейшее время, замечательно и следующее: *эксплоатация человека человеком* (l'exploitation de l'homme par l'homme). При этом выражении пена выступает у рта, волос становится дыбом и кипят чернила у либералов и прогрессистов; здесь забывается одно: все гражданское общество, вся образованность, все просвещение основаны на этой эксплуатации, на этой разработке ближнего ближним, чтобы помогать друг другу. Скажу опять: одни дикари не умеют эксплуатировать друг друга иначе, как на пустой желудок, когда с голоду одному придется съесть другого. *Эксплоатация* есть круговая порука, взаимное обучение, взаимное содействие. Один дает свою мысль, свой ка-

питал, нажитый этою мыслью; другой свои руки, свои силы, чтобы привести эту мысль в исполнение и самому получить от неё возмездие и выгоду.

В тогдашней Москве не было словопрений о подобных вопросах. Это так! Но то, что в этих вопросах заключается существенного и добросовестного, сказывалось молча само собою. В различных слоях общества не было ни высокомерного презрения с одной стороны, ни тревожной зависти с другой. бесспорно, и тогда были свои *больные места*, но какая-то терпимость, эта житейская мудрость, не давала забывать, что есть однакоже некоторое необходимое равенство, а именно: равенство пред законом, т.-е., чтобы никто не был ни выше, ни ниже, ни вне закона. Другое поголовное равенство противно и природным, и общественным узаконениям. Ныне встречаются часто большие мастера возбуждать и разжигать вопросы. Жуковский говорил об одном нашем приятеле, который выдавал и признавал себя более влюбленным, нежели был на самом деле: «да, он работал, работал и наконец расковырнулся весь сердечной болячкой и страстью!» Так и теперь расковыривают некоторые вопросы до болячки.

В то время были еще Европе памятны свежие предания о событиях, возмутивших и обагривших кровью почву Франции в борьбе с старыми порядками и в напряженных восторженных усилиях установить порядки новые. В самой Франции умы успокоились и остыли. Эта реакция вызвала потребность и жажду мирных и общежитейских удовольствий. Эта

реакция, хотя до нас собственно и не касавшаяся, потому что у нас не было перелома, неминуемо, однако же должна была отозваться и в России. Праздная Москва обратилась к этим удовольствиям, и общественная жизнь сделалась потребностью и целью её исканий и усилий. Было в этом много поверхностного, много, может быть, легкомысленного – не спорю; но по крайней мере внешняя и блестящая сторона умственной жизни, именно допожарной Москвы, была во всей силе своей и процветании. И в этом отношении могла носить она почетное звание первопрестольной столицы, не смотря на отсутствие двора и высших государственных учреждений.

Недоумие ли, упрямство ли, или сознательное заблуждение, но некоторые из наших мыслителей и писателей признают за Русский *народ* то, что на деле и по истории есть *просто* народье. В сем последнем, по мнению их, вся сила, вся жизнь, все доблести, одним словом вся русская *суть*. В подобном воззрении есть много материального и количественного. Большинство имеет конечно свое значение и свою силу. Но в государственном устройстве и меньшинство, особенно когда оно отличается образованием и просвещением, должно быть принято в счет и уважено. Смотреть на него, как на вставочные числа, которые можно вычеркнуть из итога, есть не только несправедливость и следовательно проступок, но и безумие. При имени Минина, представителя большинства, есть рядом имя и князя Пожарского, представителя меньшинства, которое дало ход делу и окончательно его

порешило. Так было, так и есть и ныне в нашей истории; так будет, надеемся, и впредь, и долго-долго, если не всегда, потому что, как сказал Карамзин, на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой.

Эти сетования о русском разладе со времени Петра I – у многих, верю, искренния и следовательно почтенные: как всякое крайнее мнение или парадокс, имеют и они свою долю истины, но во всяком случае эти сетования бесполезны: соль этой истины обессилилась, и по выражению Евангелия, ее осолить уже нечем. Перевороты и события перешли в историю: история перешла в жизнь; а истории перестраивать нельзя. Попытки на это воссоздание, если бы и можно было серьезно за него приняться, только загромоздили бы нас и дорогу нашу новыми обломками, а не создали бы ничего нового. Не признавать в Петре I русской личности, русского духа, не смотря на все его чужеземные нововведения, выказывает – воля ваша – непонимание русского начала и русской природы. Своими гениальными свойствами и духовными доблестями, своими недостатками и пожалуй погрешностями, принадлежащими впрочем еще более эпохе его, нежели ему самому, своею государственною опрометчивостию, Петр был в высшем размере, в высшей степени первообраз русского человека. В свое время он был в тесном сочувствии и в живых сношениях с народом и простонародьем. Дубина его и ныне памятна народу: и если современникам она была под час тяжела, она ныне благословляется беспристраст-

ным преданием. Анекдоты о нем, легенды, песни, народные и солдатские, ходят и ныне по городам и деревням. Слава имени и дел его – достояние народное. Иногда бессознательно, без исследования, без критической поверки, но чувством, но темною благодарностию они присвоены народной памяти. В числе немногих исторических воспоминаний они уцелели в уме и простого народа. Подобная *популярность* (скажем мы за неимением русского коренного слова) выше всяких исторических кабинетных умствований. Образы Петра Великого и Екатерины Великой живы в воспоминаниях народных. А об этом до Петровском периоде, о лицах, которые этот период знаменуют, об этом *золотом народном веке*, про который ему поют и о котором он будто тяжело вздыхает и скорбит, народ, т.-е. простонародье, никакого понятия не имеет. Простонародью некогда изучать, классически изучать свою древнюю историю; довольно с него знать на деле кое-что из настоящей, и темно и смутно готовиться к будущей. И должно сознаться, что по образу и складу выражений, которые употребляют некоторые из этих *пророков минувшего*, народ и после их иеремиад никакого понятия иметь не может. Некоторые из наших писателей, скорбя о народном разладе в России, пишут именно таким языком, который в разладе с народным понятием и которого любимое ими большинство в толк взять не может. Ратуют они за большинство, а пишут для немногих. Надобно опрокинуться в бездну немецкой философии, рыться в иноязычных словарях, и то новей-

ших изданий, чтобы попасть на след того, что сказать хотела их интеллигенция и субъективность. Прочтите что-нибудь из сочинений этих народолюбцев на деревенской сходке, и вы убедитесь, поймут ли вас грамотные гласные волостные, не говоря уж о сельском мире. В наше старое время смеялись над галлицизмами и прочиии *измами* некоторых писателей из Карамзинской школы; но в виду пестроты нынешнего языка можно было бы и самого князя Шаликова причислить к Шишковским староверам.